

ТИМ ВОЛКОВ

МЕДИЦИНА

ДОКТОР РАЗУМОВ

— КНИГА 3 —

Разумов

Тим Волков

Доктор Разумов. Книга 3

«Автор»

2026

Волков Т.

Доктор Разумов. Книга 3 / Т. Волков — «Автор»,
2026 — (Разумов)

Я - психотерапевт элитной частной клиники в Москве. Работа нервная, напряженная, как результат - инфаркт и смерть. Но судьба любит странные шутки. Я очнулся в теле юного врача в захолустной лечебнице. Мой разум — это энциклопедия психиатрии XXI века. Только вот на дворе 1870 год и вместо новомодных лекарств и протоколов лечения есть только смиренные рубашки, камеры и цепи. Теперь я не психотерапевт, а лекарь душевных болезней - доктор Разумов. Однако самое интересное начинается, когда я понимаю: далеко не все пациенты в лечебнице действительно безумны, а главный врач скрывает жуткую тайну...

© Волков Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Тим Волков

Доктор Разумов. Книга 3

Глава 1

Я сидел в своём кабинете, держа перед собой тот самый обгоревший с одного края клочок бумаги, и в который уже раз перечитывал корявые, выведенные сажей буквы, пытаюсь извлечь из них хоть какую-то зацепку, помимо самой угрозы.

«Заказывай у Митрича табличку, доктор».

Эта фраза, при всей своей зловещей прямоте, несла в себе и нечто иное — куда более тревожное для меня, чем сама угроза смерти. Митрич делал надгробные таблички для большого кладбища сам, вырезая имена на небольших деревянных дощечках, — незатейливое, почти домашнее ремесло, о котором за пределами наших стен попросту некому было знать. Ни в городе, ни в губернии, ни даже среди ближайших деревень никто не имел ни малейшего представления о том, что хозяйственные таблички на наших скромных могилах — дело рук именно старого дворника, а не заказ у какого-нибудь городского резчика.

Значит, тот, кто вывел эти слова, бывал здесь. Знал внутренний быт лечебницы достаточно хорошо, чтобы обронить подобную, казалось бы, мелкую, но безошибочно узнаваемую деталь.

Я отложил записку и принялся расхаживать по кабинету, выстраивая в голове круг возможных подозреваемых с той же методичностью, с какой прежде выстраивал дифференциальный диагноз у сложного пациента.

Пациенты отпадали почти сразу — и это было первое, в чём я убедился ещё утром. Никто из них не покидал пределов лечебницы без сопровождения, а уж тем более не мог самостоятельно, незамеченным, добраться до Берёзовки, прожить там четыре дня в сарае Фрола, выдавая себя за городского племянника, а затем вернуться обратно и оставить записку под кустом у сгоревшей стены — вернуться незамеченным, не вызвав ни малейшего переполоха среди санитаров, обязанных вести учёт каждого обитателя палат. Даже самые спокойные, самые доверенные из них, вроде Ивана, прежде чем его выписали, находились под постоянным, хоть и необременительным присмотром.

А что, если дело вовсе не в нынешнем персонале? Что, если записку оставил кто-то из прежних пациентов — тех, кого Кляйн когда-то выписывал, а значит, тоже был осведомлён о внутреннем быте лечебницы, включая и скромное ремесло Митрича?

Мысль эта показалась мне поначалу столь же тревожной, сколь и правдоподобной. Человек, проведший здесь долгие месяцы или даже годы, вполне мог затаить обиду — на лечебницу как таковую, на систему, искалечившую его жизнь, а вовсе не лично на меня.

Ведь и записки предназначалась не мне лично. «Доктор» — это ведь мог быть и Кляйн...

А ведь если автором записки был кто-то из давних, выписанных ещё при Кляйне пациентов, логичнее было бы ожидать угрозы в адрес именно Кляйна — человека, чьими руками, по сути, и творились все те жестокости, что я так старательно теперь искоренял.

Я спустился в кабинет, где всё ещё хранились прежние архивы лечебницы, доставшиеся мне в наследство от Кляйна, — пухлые, пропылившиеся папки с историями болезни, записями о поступлении и, что было мне нужнее всего сейчас, скупыми, редкими пометками о выписке.

Несколько часов кропотливого, утомительного разбора этих бумаг принесли результат, поразивший меня едва ли не сильнее, чем сама угрожающая записка.

За последние пять лет, судя по документам, Кляйн не выписал из лечебницы ни единого пациента. Ни одного. Поступления были — регулярные, частые, порой по два-три человека

в месяц, — но выписки отсутствовали напрочь, за единственным печальным исключением смертей, аккуратно, хотя и без малейшего сочувствия, зафиксированных в тех же папках.

Я медленно закрыл последнюю, уже выцветшую от времени папку, чувствуя, как к горлу подкатывает тяжёлый, горький ком. Вот она, истинная, неприкрытая суть этого места при прежнем хозяине — не лечебница в подлинном смысле слова, а именно то, о чём с такой простодушной прямоотой говорила мне когда-то Людмила Павловна: учреждение, откуда единственным путём наружу считалось кладбище за садом.

Версия о мстительном бывшем пациенте отпадала сама собой — просто потому, что таких пациентов, способных дожить до свободы и затаить обиду на новые порядки, за последние годы существования лечебницы попросту не существовало.

Значит, искать предателя следовало не в прошлом, а в настоящем — среди тех, кто окружал меня здесь и сейчас, день за днём, с привычными, будничными лицами, за которыми, быть может, пряталось нечто куда более злое, чем я готов был до сих пор предположить.

Оставались, стало быть, те, кто имел свободу передвижения, — персонал.

Я мысленно перебрал всех, одного за другим.

Людмила Павловна — немыслимо, абсурдно даже на мгновение задерживаться на этой мысли. Слишком много она сделала, слишком многим рисковала ради лечебницы и ради меня самого, чтобы заподозрить в ней хоть каплю злого умысла.

Митрич — тем более нелепо, учитывая, что именно его ремесло упоминалось в самой записке с такой издевательской прямоотой, будто кто-то намеренно глумился над его памятью, зная, что старик менее всего заслуживает подобного подозрения.

Проход, Никита, Степан, молодой Гриша — санитары, которых я знал уже достаточно хорошо, видел их каждодневный, зачастую самоотверженный труд во время тушения пожара, во время переселения пациентов, во время бессонных ночей ухода за обожжёнными. Трудно, невыносимо трудно было представить любого из них способным на столь хладнокровное предательство.

И всё же кто-то из них — или некто, кого я по неосторожности упустил из виду, — должен был знать о табличках Митрича. Должен был иметь свободный доступ к территории, возможность отлучиться на несколько дней, не вызвав немедленных расспросов.

Я остановился у окна, глядя на серый, промозглый двор, где Проход как раз пересекал пространство между флигелем и главным корпусом, неся на плече охапку дров.

Кто из них в последние недели отлучался из лечебницы под тем или иным предлогом? Кто имел хоть малейшую причину — или хоть малейшую возможность — быть завербованным теми людьми, что искали Воронцова, или, быть может, самим Добролюбовым, желающим покончить со мной за публичное унижение?

Я понял, что одними размышлениями здесь не обойтись. Нужно было действовать методично, расспросить каждого, сверить, кто и когда отлучался за последний месяц, — провести, по сути, то же самое расследование, какое вёл бы опытный следователь, только без привычных мне в прошлой жизни инструментов вроде фотографий, отпечатков пальцев или хотя бы телефонного звонка для проверки алиби.

Я сел обратно за стол, придвинул к себе чистый лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, начал методично выписывать имена всех, кто служил в лечебнице, — санитаров, кухарок, конюха, — рядом с каждым именем оставляя место для записок: кто и когда в последнее время отсутствовал на территории дольше обычного.

Список этот, я понимал уже тогда, станет моим единственным, хотя и весьма шатким, ориентиром в поисках предателя, затаившегося где-то среди тех, кого я до сих пор привык считать своими.

А еще нужны были люди. Не санитары, привычные к уходу за больными, а те, кто способен при необходимости постоять за лечебницу физически, — и я, решившись наконец на это, отправился искать Митрича.

— Нужна охрана, — сказал я ему прямо, застав старика за починкой изгороди. — Двое крепких мужчин, которым можно доверять. На постоянной основе, покуда не разберёмся, что происходит.

Митрич выслушал меня, задумчиво теребя бороду, а затем кивнул.

— Есть такие, барин, — сказал он. — Ребята из нашей же деревни, Фёдор да Егор, братья двоюродные. Оба крепкие, честные, непьющие, я их сызмальства знаю, отцов ещё их знал. На заработки часто ходят, лишний рубль им не помешает, да и за правое дело постоять не откажутся — не из пугливых.

— Доверенные? — переспросил я.

— Как самому себе доверяю, — твёрдо сказал Митрич. — За них ручаюсь.

— Тогда зови их, — сказал я. — Чем скорее, тем лучше. В найм.

Людмила Павловна, узнав об этом решении в тот же вечер, за ужином, тяжело вздохнула, откладывая ложку.

— Андрей Геннадьевич, — сказала она, — дело, конечно, нужное, не спорю, да только чем же мы им платить станем? У нас и так в казне после пожара всё по нитке собрано, едва на еду да на солому хватило, а теперь ещё и жалованье двум лишним людям...

— Деньги будут, — улыбнувшись, сказал я. — У меня есть план.

Она посмотрела на меня с явным сомнением, но расспрашивать дальше не стала, слишком привыкнув за последний месяц к тому, что планы мои, сколь бы безрассудными они ни казались поначалу, порой всё же приносили плоды.

После ужина я заперся в кабинете, зажёл свечу и, придвинув к себе чистый лист плотной канцелярской бумаги, принялся составлять письмо — тщательно, взвешивая каждое слово, зная, что от убедительности этого прошения будет зависеть куда больше, чем простое жалованье для двух новых сторожей.

«В Губернскую Земскую Управу, — старательно вывел я, — от исполняющего обязанности главного врача Светлогорской психиатрической лечебницы доктора А. Г. Разумова.

Чрезвычайное прошение.

Довожу до сведения Управы, что в результате пожара, случившегося в ночь на 10 число сего месяца, женское крыло лечебницы понесло значительный урон, повлёкший за собой необходимость экстренного ремонта повреждённых строений, а также переуплотнение оставшихся палат сверх допустимых санитарных норм. С наступлением холодов означенное положение грозит обернуться подлинным бедствием для призреваемых, лишённых достаточного крова и тепла.

В связи с вышеизложенным покорнейше прошу Управу рассмотреть возможность экстренного ассигнования средств на следующие неотложные нужды: закупку строительных материалов для окончательного восстановления пострадавшего крыла, закупку дров в количестве, достаточном для отопления всех помещений в течение предстоящей зимы, а также содержание дополнительного обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения должного порядка и безопасности заведения в условиях возросшей нагрузки».

Я остановился, перечитывая написанное, и невольно усмехнулся горькой, но от того не менее практичной уловке, к которой прибегал, — «дополнительный обслуживающий персонал» звучало куда благонадёжнее и понятнее любому земскому чиновнику, чем «охрана от неизвестных злоумышленников, угрожающих моей жизни». Пусть Фёдор и Егор официально числятся истопниками или сторожами хозяйственного двора — жалованье им от этого платить легче не станет, но хотя бы появится законное основание для подобных расходов, которое не

вызовет ненужных вопросов у чиновников, никогда не отличавшихся излишним сочувствием к обстоятельствам, выходящим за рамки привычных канцелярских формулировок.

Я обмакнул перо снова и, не позволяя себе больше ни малейшего промедления, продолжил выводить строки прошения. Понимал, что от ответа Управы теперь будет зависеть не только тепло в палатах предстоящей зимой, но и нечто куда более насущное: сама возможность защитить тех, кто доверил мне свою жизнь, от опасности, чьи истинные масштабы я только начинал постигать.

Второе письмо потребовало от меня совершенно иного подхода, чем сухое, канцелярское прошение в земство.

Усевшись за него, я невольно улыбнулся собственному замыслу, ощущая себя почти заговорщиком, вооружённым знаниями, недоступными никому в этом веке.

В прежней, будущей жизни мне доводилось читать достаточно о психологии рекламы, о том, как правильно сформулированное объявление способно затронуть именно те струны тревоги и надежды, что заставляют состоятельного человека раскошелиться без долгих раздумий. А уж в чём-чём, а в тревогах зажиточного дворянства и купечества этого века недостатка не было — меланхолия, сплин, нервическое расстройство, тайная, тщательно скрываемая от посторонних глаз пагубная привязанность к вину или, что было ещё опаснее и куда распространённое, чем принято было признавать вслух, к морфию.

Вот на этом я и хотел заработать.

Я обмакнул перо и начал составлять объявление, тщательно взвешивая каждое слово.

«Лечебница для нервных и душевных расстройств, — вывел я, — предлагает полный курс восстановительного лечения по новейшим европейским методам для особ, страдающих меланхолией, нервическим истощением, а равно и от иных слабостей, требующих деликатного, конфиденциального подхода».

Я остановился, обдумывая следующую фразу. Ключевым должно было стать именно это — конфиденциальность, то, чего так отчаянно жаждали состоятельные семейства, стремящиеся избавить своих близких от пагубной привычки, не предавая огласке самого факта подобной слабости.

«Полная анонимность гарантируется, — продолжил я писать. — Пациенты принимаются под вымышленными именами, без оповещения родственников, знакомых или местного общества. Уединённое расположение заведения, вдали от городского шума и любопытных глаз, способствует скорейшему восстановлению душевного покоя».

Далее следовало указать нечто, что отличало бы моё предложение от прочих, уже существующих — если таковые вообще имелись в губернии — подобных заведений.

«Лечение проводится по методам, основанным на последних достижениях европейской и отечественной медицины, — продолжил я, позволяя себе лёгкое, но вполне оправданное преувеличение, — включая режим строгого, но гуманного содержания, без применения насильственных мер, под постоянным наблюдением опытного врача с университетским образованием».

Я перечитал написанное. В голове моей тут же выстроилась практическая, насущная мысль: подобное объявление непременно должно было заканчиваться указанием стоимости — и стоимость эта должна была быть достаточно высокой, чтобы отсеять всех, кроме по-настоящему состоятельных клиентов, но не настолько заоблачной, чтобы отпугнуть их вовсе.

Закончив с черновиком, я откинулся на спинку стула, и первое, пьянящее воодушевление от удачно составленного текста тут же сменилось куда более трезвым, отрезвляющим расчётом.

Даже если это объявление появится в ближайшем номере губернских ведомостей, даже если найдётся желающий откликнуться немедленно, — реальные деньги от подобного предприятия начнут поступать лишь спустя недели, а то и месяцы. Нужно было время, чтобы объяв-

ление заметили, чтобы кто-то решился, чтобы переговоры и устройство нового, тайного пациента состоялись по всем правилам деликатности, которые я сам же и обещал в этом тексте.

А время, судя по обгоревшей записке, лежавшей теперь в запертом ящике моего стола, было именно тем, чего мне отчаянно не хватало.

Я отложил перо, потирая виски, и заставил себя признать очевидное: нужен был иной, куда более быстрый источник средств — не долгосрочное, пусть и перспективное предприятие, а немедленная, ощутимая сумма, способная хоть на первое время покрыть расходы на охрану, на материалы, на всё то, чего требовала нынешняя, опасная обстановка.

Единственным активом, которым я реально располагал здесь и сейчас, было само здание лечебницы — его земля, его постройки, пусть и обременённые недавним пожаром, но всё же представлявшие собой вполне реальную, оценимую ценность.

Заложить лечебницу? Взять ссуду под залог самого здания в Дворянском или Купеческом банке губернского города?

Мысль эта отдавала таким риском, что у меня невольно похолодело внутри, стоило мне додумать её до конца. Если дело с анонимным лечением не заладится, если доходы не покроют взятую ссуду в срок, — банк, не церемонясь, отберёт здание за долги, и тогда не станет ни лечебницы, ни крова для десятков людей, доверивших мне свои жизни.

Но, глядя на угрожающую записку, запертую в ящике стола, я понимал: промедление сейчас грозило куда более скорой и неотвратимой катастрофой, чем любой финансовый риск.

Я придвинул к себе новый лист бумаги и принялся составлять третье за этот вечер письмо — на этот раз адресованное управляющему губернского Дворянского банка.

«Самое важное, — подумал я. — И самое рискованное».

Глава 2

Минула неделя относительного, хотя и настороженного затишья, за которое я успел дважды съездить в Берёзовку, проверяя, как идёт выздоровление Дарьи Фроловны. С каждым разом она выглядела всё крепче: сидела уже подолгу, ела сама, без понуканий, и хотя взгляд её временами всё ещё затуманивался прежней, тревожной отрешённостью, прежнего ступора, той смертельной неподвижности, более не возвращалось. Я решил пока оставить её дома, под присмотром Фрола, не торопить события, не рисковать новым потрясением слишком ранним переездом в чужие, непривычные стены.

Сам Фрол при этих визитах держался со мной сдержанно, виновато, избегая прямых разговоров о том загадочном «племяннике», но каждый раз, провожая меня обратно к телеге, крестился мелко, суетливо, будто сам всё ещё не до конца верил, что беда, нависшая было над его домом, минула стороной.

Поджигатель, однако, более не давал о себе знать. Ни новых записок, ни подозрительных звуков по ночам, ни единого следа чужого, звонкого шага у ограды. Тишина эта, впрочем, тревожила меня едва ли не больше открытой угрозы. Я всё чаще ловил себя на мысли, что затаившийся враг просто ушёл на дно, выжидая, покуда ослабнет моя бдительность, покуда новые сторожа примелькаются и перестанут восприниматься всерьёз. Чтобы однажды, в самый неожиданный момент, напомнить о себе снова.

Фёдор и Егор, те самые братья, рекомендованные Митричем, уже вполне освоились на новом месте. Крепкие, молчаливые парни лет по двадцать пять, с тяжёлыми, привычными к работе руками, какие бывают у людей, выросших в постоянном труде на земле. Парни обходили территорию по очереди, днём и ночью, проверяли ограду, присматривались к любому чужаку, появлявшемуся на дороге. Само их присутствие, пусть пока и не проверенное настоящим испытанием, вселяло в персонал лечебницы ту крупицу спокойствия, которой так отчаянно не хватало после пожара.

Особенно радовался Митрич, которому новые люди при дворе явно пришлись по душе. Старик сначала робко, потом уже смелее начал отдавать им команды, потом и вовсе начал ими руководить, раздавая задания — вымести двор, перенести инструмент, поправить покосившийся забор.

Объявление моё, тем временем, уже вышло в губернских ведомостях. Откликов пока не было, да я и не ждал их так скоро, помня, что подобные, деликатные дела решаются небыстро, исподволь, через осторожные расспросы знакомых, через передаваемые шёпотом рекомендации. Нужно было ждать.

Погода меж тем окончательно обернулась к зиме. Небо затянуло плотной, низкой пеленой туч, из которой то и дело принимался сыпать мелкий, колючий снег, тут же тающий на ещё не промёрзшей толком земле, а ветер, гулявший по двору, пронизывал до костей, заставляя всех, кто выходил по надобности во двор, кутаться поплотнее и торопиться обратно в тепло натопленных палат. Митрич, оглядывая небо поутру, лишь качал головой, бормоча что-то о ранних холодах, каких давно уже не видывал в здешних краях по эту пору.

Анна, несмотря на всю эту тревогу, продолжала день за днём вращаться в жизнь лечебницы с той же спокойной, уверенной основательностью, что я заметил в ней ещё с первых дней нашего совместного возвращения. Она давно перестала быть просто моей гостьей, моей спасённой подопечной. Пациенты, от самых тихих до самых беспокойных, тянулись к ней с той безыскусной доверчивостью, какую редко встретишь даже у опытных, многолетних сиделок. Прасковья Тимофеевна, та самая старушка с вязанием у окна, звала её теперь не иначе как «голубка наша», а Дарья, слепая пациентка с её удивительным слухом, уверяла, что узнаёт

Анну по шагам едва ли не раньше, чем та успевает войти в палату, — лёгким, быстрым, но неизменно внимательным шагом человека, спешащего помочь.

— Андрей Геннадьевич, — сказала она мне как-то вечером, когда я, вымотанный очередным днём хлопот, присел наконец отдохнуть в нашей тесной комнате во флигеле, — а знаете, я ведь впервые за долгое время чувствую, что по-настоящему нужна. Не как жертва, не как та, кого нужно спасать и оберегать, а как человек, который сам способен кому-то помочь.

Я посмотрел на неё — усталую, но светящуюся тем особым, тихим довольством, что приходит лишь от настоящего, выстраданного дела, — и почувствовал, как внутри, вопреки всей нависшей над нами тревоге, разливается тепло, какого я, признаться, давно уже не позволял себе в полной мере прочувствовать.

— Вы нужны здесь, Анна, — сказал я тихо. — Не меньше, чем я сам, а быть может, и больше.

Она улыбнулась в ответ.

Карета подкатила к воротам лечебницы ещё затемно — массивная, добротная, запряжённая парой холёных, лоснящихся лошадей, какие редко встретишь в наших небогатых краях, — и я, заметив её из окна кабинета, поспешил выйти навстречу, предчувствуя, что визит этот неспроста.

Из кареты, кряхтя и оправляя полы дорогой, подбитой мехом шубы, выбрался грузный, представительный господин лет пятидесяти, с окладистой бородой, тронутой сединой.

— Доктор Разумов? — спросил неожиданный гость, останавливаясь в нескольких шагах и не спеша протягивать руку.

— Он самый, — ответил я, слегка поклонившись. — С кем имею честь?

— Прохоров, Силантий Кузьмич, — сказал он, — купец первой гильдии, из города.

Я кивнул, уже догадываясь, что привело ко мне человека подобного положения.

Но Прохоров, вместо того чтобы сразу перейти к делу, принялся медленно обходить территорию лечебницы, окидывая цепким, недоверчивым взглядом и свежую солому на крыше, и свежепобелённые стены, и неприметную фигуру Фёдора, маячившую у ворот.

— Охрана у вас, гляжу, имеется, — заметил он, кивая в сторону Фёдора.

— Имеется, — подтвердил я.

— А врачи ваши, санитары — люди надёжные? Болтать не станут? — спросил он, не глядя на меня, продолжая разглядывать здание.

— Весь персонал у меня проверенный, — сказал я осторожно. — Силантий Кузьмич, позвольте узнать, что именно вас интересует? Я бы предпочёл понимать цель вашего визита, прежде чем продолжать разговор.

Он наконец повернулся ко мне. В его тяжёлом, купеческом взгляде мелькнуло что-то похожее на недовольство столь прямым вопросом, но вместе с тем и невольное уважение.

— А объявление в ведомостях ваше? — спросил он вместо ответа. — Про лечение нервическое, анонимное?

— Моё, — сказал я.

— И впрямь ли оно анонимное? — переспросил он, понижая голос, хотя рядом с нами никого больше не было. — Без лишних расспросов, без огласки? Чтобы ни одна живая душа в городе не прознала?

— Даю вам слово, — сказал я твёрдо. — Пациент может быть записан под любым именем, какое вы пожелаете. Никакой переписки с родственниками, знакомыми или прежними докторами я вести не стану, если вы того не попросите сами.

Прохоров долго молчал, покусывая ус, явно взвешивая, насколько можно довериться этим обещаниям, а затем снова принялся расхаживать вдоль ограды, то и дело бросая на меня испытующие, искоса брошенные взгляды.

— А лечите-то как? — спросил он наконец. — Цепями, что ли, вяжете, как по старинке водится?

— Ни в коем случае, — сказал я. — У нас гуманные методы. Режим, покой, при необходимости — медикаментозная поддержка. Никакого насилия.

Он снова замолчал, обходя здание по второму кругу, и я, наблюдая за этой затянувшейся, мучительной нерешительностью, начал понимать: человек этот явно нуждался в моей помощи, но что-то — быть может, стыд, быть может, застарелое купеческое недоверие к чужакам — мешало ему выговорить истинную причину своего приезда напрямую.

— Силантий Кузьмич, — сказал я наконец, решив прекратить это затянувшееся кружение вокруг да около, — позвольте говорить прямо. Вы приехали сюда не праздного любопытства ради. Скажите просто, что вам нужно, и я скажу, могу ли я помочь.

Он остановился, тяжело вздохнул. Вся его прежняя, купеческая осанистость вдруг осела, сменившись чем-то куда более простым, человеческим — усталостью отца, долго носившего в себе непосильное бремя.

— Сын у меня, — сказал он наконец глухо. — Единственный. Двадцать два года парню, а пьёт — не приведи господь никому такое увидеть. Начал ещё в гимназии, по глупой компании, да так и не остановился. Торговлю всю на себя взять должен был, наследство, дело всей моей жизни, — а он третий год уже по кабакам пропадает, то в беспамятстве валяется, то буйнит, то плачет, прощения просит, обещает бросить — и снова за своё.

— Пробовали лечить прежде? — спросил я.

— Пробовал, — он махнул рукой с горькой безнадёжностью. — Знахарки какие-то, батюшка местный молебны служил, даже к немцу одному возил, в столицу, тот деньги взял немалые, да толку чуть. А коли узнают в городе, что сын мой пропойца беспробудный, — он снова понизил голос, — дело моё, репутация моя, тридцать лет нажитая, прахом пойдёт. Конкуренты только того и ждут, чтобы ослабить на весь город. Возьметесь?

— Привозите его, — сказал я. — Я сделаю всё, что в моих силах.

Прохоров посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом, а затем, коротко кивнув, будто принимая окончательное решение, развернулся и направился обратно к карете.

— Эй, — крикнул он кучеру, — подымай его!

Я подошёл ближе и только теперь разглядел сквозь приоткрытую дверцу кареты скорчившуюся на сиденье фигуру — молодого человека, бледного, осунувшегося, в мятном, несвежем сюртуке, крепко, беспробудно спящего тем тяжёлым, нездоровым сном, что бывает лишь после долгого, многодневного запоя.

— Фёдор, Егор! — позвал я, и оба парня, стоявшие неподалёку, тут же подошли, готовые помочь.

Они осторожно, но уверенно подхватили бесчувственного юношу под руки и, перекинув его обмякшее тело себе на плечи, понесли в сторону отдельной, недавно освобождённой палаты, предназначенной как раз для подобных, деликатных случаев.

Прохоров проводил сына тяжёлым, полным застарелой боли взглядом, а затем полез во внутренний карман шубы и извлёк оттуда увесистый, туго набитый кошель.

— Вот, — сказал он, протягивая его мне, — здесь за полгода вперёд, доктор. Коли мало будет — скажете, добавлю, не постою за деньгами. Только прошу вас, — он понизил голос до почти умоляющего шёпота, — чтобы ни одна живая душа не прознала, где он и что с ним. Для всех — в столицу отправлен, учиться наукам каким-то заморским. Хоть бы сам чёрт спрашивал — молчите, доктор, Христом богом прошу.

— Можете быть покойны, Силантий Кузьмич, — сказал я, принимая кошель, вес которого красноречивее любых слов говорил о том, сколь серьёзно этот человек относился к своей просьбе. — Тайна эта останется между нами.

Проводив Прохорова взглядом, пока его карета не скрылась за поворотом дороги, я поспешил в палату, где Фёдор с Егором уже успели устроить бесчувственного юношу на кровати, стянув с него верхнюю одежду и укрыв тёплым одеялом.

Я осмотрел его при свете свечи — бледная, нездоровая желтизна кожи, частый, слабый пульс, поверхностное дыхание с характерным, тяжёлым перегаром. Запущенный, многодневный запой, судя по всему, сопровождавшийся к тому же почти полным отказом от пищи, — организм был истощён, обезвожен, и первым делом следовало поддержать его хоть скольконибудь действенным способом, прежде чем приступить к дальнейшему, более долгому лечению самой зависимости.

— Принесите мне тёплой кипячёной воды, — сказал я Фёдору, доставая из саквояжа небольшой деревянный ящичек, где хранились инструменты для подкожных вливаний, — и позовите Анну, если она свободна.

Юноша застонал, не приходя в сознание, когда я осторожно освободил его предплечье от рукава сорочки, обнажая бледную, иссушенную кожу с проступающими синеватыми венами.

Анна подросла почти сразу, и, увидев моё занятие, молча встала рядом, готовая помочь, — за последние месяцы она успела перенять достаточно, чтобы без лишних объяснений понимать, что от неё требуется.

Я достал небольшой стеклянный сосуд с заранее приготовленным солевым раствором, тщательно протёр горлышко спиртом и, вооружившись тонкой полрой канюлей, приступил к введению иглы в вену — медленно, осторожно, нащупывая нужное место кончиками пальцев, прежде чем сделать прокол.

— Держите сосуд повыше, — сказал я Анне, — пусть раствор стекает ровно, без рывков.

Она подняла стеклянную ёмкость над кроватью, а я, присоединив к канюле тонкую резиновую трубку, принялся наблюдать, как слегка подогретая жидкость медленно, каплю за каплей, начинает уходить в вену пациента.

Юноша дёрнулся было при самом проколе, но тут же снова затих, погружённый в тяжёлое, беспмятное забытие.

— Будет ли он в сознании скоро? — тихо спросила Анна, не отрывая взгляда от медленно убывающего раствора.

— Не сразу, — сказал я, проверяя пульс свободной рукой. — Организм его сейчас слишком истощён, нужно дать ему время восстановиться хотя бы немного, прежде чем заводить разговор о дальнейшем лечении. Пока ограничимся тем, что восполним потерянную жидкость, не позволим телу окончательно ослабеть.

Когда раствор из первого сосуда иссяк, я осторожно извлёк канюлю, прижал к месту прокола небольшой тампон, смоченный спиртом, и, убедившись, что кровотечение остановилось, аккуратно перебинтовал предплечье.

— А это для чего? — спросила Анна, кивая на небольшой стеклянный шприц, который я тем временем вынимал из ящичка.

— Небольшая доза успокоительного, — сказал я, наполняя шприц тщательно отмеренным количеством раствора брома, — чтобы облегчить то тяжёлое, болезненное состояние, в которое он неизбежно впадёт, когда организм начнёт требовать привычного ему яда, а взять его будет неоткуда. Белая горячка, если её не упредить вовремя, может оказаться для него куда опаснее самого похмелья.

Я проверил иглу на свет, ввёл лекарство под кожу. Принялся наблюдать, как юноша, не просыпаясь, издаёт тихий, протяжный вздох, будто и само его измученное тело невольно отзывалось облегчением на эту небольшую, но своевременную помощь.

— Теперь пусть спит, — сказал я, отступая от кровати и укрывая его одеялом повыше. — А мы будем следить за ним по очереди, каждые несколько часов проверять пульс, дыхание, не

начнётся ли жар или судороги. Самое трудное, Анна, только начинается — не само вливание, а то, что последует, когда он очнётся и начнёт в полной мере ощущать, чего лишился.

Оставшись наконец один в кабинете, я развязал тугой узел на кошеле, оставленном Прохоровым, и принялся пересчитывать содержимое, раскладывая ассигнации аккуратными стопками на столе.

Сумма оказалась внушительной — куда внушительнее, чем я смел надеяться поначалу. Я прикинул в уме: этого хватит, чтобы покрыть жалованье Фёдору и Егору за первый месяц их службы, да ещё останется на изрядную часть зимних запасов — крупу, муку, постное масло, которых так катастрофически не хватало после разрыва с Добролюбовым.

Не решение всех бед разом, но уже немало. Первый, ощутимый, не умозрительный, а вполне реальный, пересчитанный собственными руками результат моего отчаянного замысла с анонимным лечением.

Я как раз заканчивал подсчёт, когда в дверь кабинета постучали, и на пороге появился один из санитаров.

— Андрей Геннадьевич, почтальон приезжал, — сказал он, протягивая мне небольшой, аккуратно запечатанный конверт. — Велел вам лично передать.

Я взял конверт, и сердце моё невольно дрогнуло, едва я разглядел знакомый, твёрдый почерк на лицевой стороне.

Стремоухов.

Я вскрыл письмо со смешанным чувством настороженности и любопытства, что неизменно сопровождало любое упоминание этого человека со времени его памятного визита к Воронцову, и быстро пробежал глазами немногие, тщательно выверенные строки.

«Многоуважаемый Андрей Геннадьевич,

Признаться, не оставляют меня мысли о нашей последней встрече в стенах вашей лечебницы. Полагаю, у меня имеется к вам дело некоторой важности, обсуждать которое в письме я почёл бы неосторожным. Не откажите в любезности встретиться со мною для беседы — время и место, думаю, удобнее было бы обговорить особо, когда получу ваше согласие, но он столь важный, что я бы взял на себя наглость и назначил дату сразу же. К примеру, послезавтра, в 18.00 часов у меня в доме (адрес прилагаю). Дело не терпит излишней огласки, но и промедления, смею заверить, также не терпит.

С неизменным почтением,

А. Н. Стремоухов».

Я перечитал это короткое, но от того не менее тревожное послание ещё раз, пытаюсь уловить в скупых, обтекаемых фразах хоть какой-то намёк на истинную цель этого неожиданного приглашения.

«Дело некоторой важности». «Не терпит излишней огласки». «Промедления также не терпит».

Ни единого прямого слова о том, что же на самом деле нужно было от меня этому человеку — благодетелю ли, обернувшемуся вдруг совсем иной, куда более зловещей фигурой, если верить Воронцову, или всё же тому редкому, искреннему союзнику, каким он представился мне поначалу, на балу.

Я держал письмо в руках, чувствуя, как тревога, едва успевшая отступить за эту относительно спокойную неделю, вновь поднимается во мне с новой, удушающей силой.

Согласиться на встречу — значило шагнуть навстречу неизвестности, возможно, прямоком в расставленную ловушку. Отказаться — значило, быть может, упустить последний шанс понять наконец, что за игру ведёт этот человек, и чем она грозит не только Воронцову, но и всей лечебнице, да и мне самому.

Глава 3

Воронцов сидел за тем небольшим столом, который я велел поставить ему несколько дней назад — якобы для чтения, а на деле ради того, чтобы хоть немного разбавить гнетущую неподвижность, в которой он был вынужден пребывать час за часом, день за днём, с тех самых пор, как оказался заперт в стенах лечебницы человеком, которому больше доверял, чем самому себе.

— Михаил Сергеевич, — сказал я, входя и протягивая ему конверт. — Взгляните. Пришло сегодня. От Стремоухова.

Он взял письмо не сразу. Несколько секунд смотрел на него, будто само прикосновение к бумаге, носившей это имя, грозило новой бедой. Потом всё же принял конверт двумя пальцами, по-старчески осторожно, и быстро пробежал глазами. Я видел, как по мере чтения лицо парня бледнело, а пальцы, державшие лист, начинали мелко дрожать — не от холода, в комнате было натоплено, а от того внутреннего озноба, который я уже научился отличать у него от обычной слабости.

— Дело некоторой важности, — прочёл он вслух, почти шёпотом, не поднимая глаз. — Не терпит огласки... промедления также не терпит...

Он замолчал, опустил письмо на стол и несколько долгих секунд сидел неподвижно, глядя в пустоту перед собой — туда, где, кажется, видел не стену своей комнаты, а что-то другое, случившееся много лет назад и до сих пор не отпускавшее его.

— Что скажете? — спросил я, присаживаясь напротив. — Есть здесь что-то понятное именно вам? Какой-то скрытый смысл, который я, по неосведомлённости, пропустил?

— Стиль, — сказал он наконец, тихо. — Вот что здесь главное, доктор, не слова. Эта нарочитая, расчётливая туманность... именно так изъясняются между собой люди, привыкшие вести дела, не доверяя бумаге ничего прямого. Я слышал подобные обороты и прежде, на тех самых собраниях, о которых вам уже рассказывал. Там умели сказать всё, не сказав ничего, что можно было бы потом предъявить как улику.

— Значит, он знает, что я в курсе вашей истории?

— Едва ли. — Воронцов покачал головой, в этом движении была почти механическая, выученная за годы осторожность. — Скорее до сих пор полагает, что вы обычный, ничего не подозревающий врач, в чьей лечебнице случайно оказался нужный ему человек. Думаю, он намерен использовать именно эту вашу предполагаемую неосведомлённость — она для него куда удобнее, чем открытая борьба.

— Для чего же?

Он поднял на меня тяжёлый, измученный взгляд — такой, какой бывает у человека, слишком долго просчитывавшего худшие исходы, чтобы ещё удивляться им.

— Чтобы попросить вас выдать меня, — сказал он глухо. — Под каким-нибудь благовидным предлогом. Скажет, может быть, что я его давний знакомый, попавший сюда по трагическому недоразумению, и что он желает забрать меня для лечения у более опытных столичных специалистов. Или денег предложит — он же не даром взялся опекать лечебницу, доктор, никто просто так не раздаёт милости такому заведению, как наше. Или придумает что-то ещё, столь же правдоподобное на первый взгляд. А как только я окажусь за пределами этих стен, вне вашей защиты...

Он не договорил. Но в глазах его я прочёл всё — ту участь, которая ждала бы его, если бы прежние товарищи наконец дотянулись до него руками, а не одними лишь угрозами через подожжённые стены.

— Тогда я откажусь от встречи, — сказал я твёрдо. — Напишу ответ прямо сейчас, что не намерен с ним видаться вовсе. Сошлюсь на занятость, на дела лечебницы, на что угодно.

— Нет, — возразил Воронцов быстро, вскидывая руку, будто хотел остановить меня. — Нет, доктор, это было бы ошибкой. Откажетесь без объяснений — он тотчас заподозрит неладное. Поймёт, что вам известно больше, чем следовало бы простому, случайному врачу. А заподозрив это, станет куда более опасным противником, уже не ограничивающимся вежливостями, завуалированными письмами.

— Что же вы тогда предлагаете?

— Поезжайте, — сказал он просто.

— Что?! — такой ответ меня, признаюсь, обескуражил.

— Выслушайте его. Притворитесь, что ничего не знаете, что искренне недоумеваете, чем могли заинтересовать столь важного человека. Пусть сам раскроет карты, изложит свою просьбу. А уже тогда вы сможете правдоподобно отказать — сославшись на врачебную этику, на невозможность обсуждать состояние пациента с посторонними лицами, да хоть на что угодно, что не выдаст истинной причины вашей осведомлённости. Или хотя бы выиграете время, а время сейчас дорого — и мне, и вам, и всей лечебнице.

Я задумался, взвешивая этот рискованный, но, пожалуй, единственно разумный в наших обстоятельствах план.

— А если он решится на нечто большее, чем уговоры? — спросил я. — Если попытается силой принудить меня к согласию? Или того хуже — просто устранить неудобного свидетеля?

— Тогда вы, по крайней мере, будете знать, с кем и с чем имеете дело, — ответил Воронцов тихо, и в голосе его прозвучала какая-то совсем не докторская, выстрадавшая житейская мудрость. — Лучше встретить опасность, видя её лицо, доктор, чем гадать вслепую, откуда она явится в следующий раз. Поверьте человеку, который слишком долго гадал вслепую и дорого за это заплатил.

Ночные заморозки, схватившие за последние дни разбитую осенними дождями дорогу, наконец сделали своё дело: земля отвердела настолько, что телега уже не увязала в колеях, как это было ещё неделю назад, когда каждая поездка в город оборачивалась часовой борьбой с грязью. Митрич доложил мне об этом за завтраком, довольный собственной наблюдательностью, и я, не раздумывая, решил воспользоваться случаем.

Письмо Стремоухова лежало в ящике стола заперт на ключ, и назначенная им встреча — завтра, в шесть часов пополудни, в его собственном доме — тяжёлым, почти физически ощутимым грузом давила на мысли, не отпуская ни на минуту. Но до того рискованного шага у меня оставался ещё целый день, и я намеревался распорядиться им с толком.

Уездный исправник Яков Матвеевич Телятников принял меня без особых проволочек, стоило только назваться и упомянуть недавнее судебное дело, о котором, судя по его заинтересованному, слегка оценивающему взгляду, он был уже порядочно наслышан.

— Слушаю вас, доктор, — сказал он, грузно опускаясь в кресло за столом, заваленным бумагами, и указывая мне на стул напротив. — Чем обязан?

Я изложил всё по порядку, стараясь не упустить ни одной важной подробности: пожар, следы керосина у разбитого окна, угрожающую записку, найденную под кустом возле сгоревшей стены, и, наконец, того самого молчаливого «племянника» в сарае крестьянина Фрола из Берёзовки — человека со звонкими, подкованными ботинками, о котором мне рассказала слепая пациентка лечебницы, различавшая людей по одному лишь звуку шагов точнее, чем иной зрячий различает лица.

Телятников слушал внимательно, время от времени делая пометки в лежавшей перед ним потрёпанной тетради, и лицо его, вначале сохранявшее вежливую, почти казённую отстранённость, постепенно становилось всё серьёзнее.

— Записку сохранили? — спросил он, когда я закончил.

— Сохранил. — Я достал из внутреннего кармана сложенный, обгоревший по краю лист и протянул его исправнику.

Он развернул бумагу, вчитался в корявые, выведенные сажей буквы, и тяжёлые брови его сошлись на переносице.

— Серьёзное дело, — сказал он наконец, откладывая записку в сторону. — Угроза убийством, поджог, повлёкший риск для жизни нескольких беспомощных пациентов, — это уже не мелкое хулиганство, доктор, это дело, требующее настоящего розыска, а не отписки для начальства.

— Я полагаю, — сказал я осторожно, — что человек, скрывавшийся в Берёзовке, может быть как-то причастен к случившемуся. Крестьянин Фрол Аникеевич, у которого он гостил под видом племянника, отказался называть его имя — и, по-моему, не из упрямства, а из настоящего, животного страха. Такого, что не позволяет человеку произнести вслух даже самое обычное имя родственника.

— Берёзовка, — повторил Телятников, помечая название в тетради. — Пошлю туда человека, расспросим соседей. Может, кто и видел этого «племянника» подробнее, чем сам хозяин готов рассказать, — в деревне ведь ничего долго не скроешь, доктор, хоть бы и очень хотели. А у вас самого, — он поднял на меня внимательный, оценивающий взгляд, — нет ли каких предположений, кто мог желать вам подобного зла? Враги, недоброжелатели — кто угодно, кто мог бы точить на вас зуб?

Я замаялся на мгновение, прикидывая, насколько откровенным мне следует быть. Упомянуть о Воронцове, о заговоре против государя, о всей той невероятной, опасной тайне, что была мне вверена, — означало бы навлечь на лечебницу внимание куда более пристальное и, пожалуй, куда более опасное, чем простое полицейское расследование поджога. Нет, этого права я на себя брать не мог, во всяком случае не здесь и не сейчас.

— Есть один человек, — сказал я осторожно, — чьё недовольство мной хорошо известно всему городу после недавнего судебного разбирательства. Дмитрий Сергеевич Добролюбов. Обвинять его напрямую не стану, улики у меня нет никаких, но умолчать о его имени было бы с моей стороны нечестно.

— Понимаю.

Телятников нахмурился ещё сильнее, и по тому, как он отвёл взгляд, забарабанив пальцами по столешнице, я понял: произнесённое имя отнюдь не обрадовало его перспективой дальнейшего следствия.

— Фигура влиятельная, — сказал он после паузы, тщательно подбирая слова, как человек, уже не раз обжигавшийся на неосторожных обвинениях. — Обвинять такого человека без веских, неопровержимых доказательств было бы неосмотрительно, доктор, да и себе дороже. Да и вряд ли станет он сам марать руки поджогом — при его-то связях на это есть кто угодно, только не он.

— Я и не настаиваю на прямом обвинении, — ответил я. — Прошу лишь заняться розыском того человека, что прятался в Берёзовке. Быть может, именно он, а не высокие покровители за его спиной, и даст ответ на этот вопрос.

Телятников кивнул, захлопывая тетрадь с решительным стуком.

— Хорошо, доктор. Пошлю людей в Берёзовку на днях, разберёмся как следует. А вы, со своей стороны, будьте осторожны. Угрожали однажды — могут решиться и на второй раз, особенно если почуют, что дело движется к разоблачению, а таким людям, как ваш безымянный поджигатель, терять нечего.

Мы попрощались, и я вышел на улицу — туда, где осеннее солнце уже клонилось к крышам, обещая скорые, короткие сумерки.

Прежде чем отправиться в обратный путь, я решил заглянуть в единственную на весь уездный город аптеку — небольшое, но опрятное заведение с латунной вывеской над входом,

обещавшей «аптекарские и москательные товары», — в надежде пополнить скудеющие запасы лечебницы хоть чем-то более надёжным, чем те сомнительные, неизвестного происхождения склянки, что доставались мне в наследство от Кляйна и его более чем сомнительной практики.

Провизор, немолодой, сухощавый человек по фамилии Шмидт, встретил меня с той немного чопорной, но вполне доброжелательной обходительностью, какая свойственна людям его ремесла, привыкшим иметь дело с самыми разными, порой весьма взыскательными клиентами.

— Чем могу служить, доктор? — спросил он, окидывая меня внимательным взглядом поверх маленьких круглых очков, сползших, как водится, на самый кончик носа.

Я достал заранее составленный список и принялся называть необходимое, мысленно досадуя на скудость ассортимента, доступного в эту эпоху, — ассортимента, который в прежней моей жизни показался бы почти смехотворным, не будь обстоятельства столь серьёзны.

— Хинин, — сказал я, — сколько у вас найдётся. Бромистый натр, не меньше фунта. Йод, нашатырный спирт, карболовую кислоту для дезинфекции.

Шмидт кивал, записывая заказ своим аккуратным, убористым почерком, и принялся доставать с полок требуемое — стеклянные банки, плотно закупоренные пробками, аптечные пакеты, перевязанные простой бечёвкой.

— Опий у вас в каком виде? — спросил я. — Настойка или сырец?

— И то, и другое найдётся, доктор, — ответил он, — хотя сырца сейчас в весьма ограниченном количестве: последняя партия из Турции задержалась в пути, то ли из-за погоды, то ли из-за таможенных дел, кто ж их разберёт.

— А хлороформ имеется?

Провизор развёл руками с виноватым видом, будто сам был повинен в этой нехватке.

— Увы, не имею, доктор. Приходится заказывать особо, из столицы, а доставка в наши края тянется неделями, а то и месяцами — смотря по погоде да по состоянию дорог, как вот сейчас у нас с вами вышло в обратную сторону.

Я мысленно вздохнул. Арсенал, доступный мне здесь, был удручающе скуден в сравнении с тем, к чему я привык прежде: ни антибиотиков, ни современных анальгетиков, ни толком стандартизированных, точно дозированных препаратов — лишь горстка веществ, известных медицине уже не одно столетие, да шаткая, во многом эмпирическая надежда на их действенность.

— Карболовую кислоту возьму в двойном количестве, — сказал я. — И нашатырного спирта побольше — пригодится при обморочных состояниях, их у нас после пожара случается чаще обычного.

— Может, ещё александрийский лист прихватите? — предложил Шмидт. — Хорошее слабительное средство, многие доктора нынче предпочитают его касторовому маслу — и переносится легче, и действует мягче.

— Возьму, — кивнул я, — и экстракт ромашки тоже, если найдётся свежий.

— Найдётся. — Он достал очередную банку, обтёр пыль с крышки рукавом. — А для нервических расстройств валериановый корень порекомендовать смею, да ещё, быть может, настойку ландыша? Весьма в моде нынче у столичных докторов, говорят, хорошо помогает при сердечных спазмах да бессоннице.

— Возьму и это, — ответил я, мысленно прикидывая, насколько скромным оставался весь этот перечень против того многообразия точных, целенаправленных средств, которыми я когда-то привычно пользовался. Ни антибиотиков от инфекции, способной унести жизнь от простого пореза, ни современных успокоительных для по-настоящему тяжёлых психических кризисов — лишь горстка растительных экстрактов, солей да той безжалостно ограниченной, во многом эмпирической фармакопеи, что оставалась в распоряжении врача этого века. И всё же — лучше такая, чем вовсе никакой.

Когда Шмидт закончил упаковывать заказ, аккуратно перевязав каждую коробку и склянку отдельной бечёвкой и сложив всё в один общий, увесистый свёрток, я расплатился частью тех денег, что оставил у меня купец Прохоров, поблагодарил провизора за хлопоты и вышел на улицу.

Город уже погружался в ранние, короткие осенние сумерки. Фонари ещё не зажгли, и узкие, кривые улочки уездного центра тонули в сизом, промозглом полумраке, разбавленном лишь редкими отсветами из окон лавок, готовившихся закрываться на ночь, да далёким лаем дворовой собаки где-то за углом.

Я направился к телеге, оставленной у коновязи в соседнем переулке, перехватывая свёрток поудобнее. И уже на половине пути вдруг ощутил холодок между лопаток. За последние недели я научился узнавать это чувство безошибочно: не просто тревогу, а тот почти звериный сигнал опасности, которому давно привык доверять больше, чем голосу разума.

Кто-то наблюдал за мной.

Я замедлил шаг, стараясь не выдать тревоги резкой переменной походки, и, не поворачивая головы, скользнул взглядом вдоль улицы краем глаза. У стены полуразрушенного, давно заброшенного сарая на мгновение мелькнула тень — высокая, неподвижная фигура, тотчас метнувшаяся в сторону, стоило мне чуть повернуть голову в её направлении.

Я резко обернулся, уже не скрывая настороженности.

Пусто. Лишь пустая, подёрнутая вечерней дымкой улица — да где-то вдалеке, за углом ближайшего дома, в узком тёмном проулке между складскими пристройками, мелькнул край тёмного плаща и тут же скрылся из виду.

И следом — тот самый, безошибочно узнаваемый звук. Звон подкованных каблучков по мёрзлой, схваченной первым настоящим морозцем брусчатке. Стук-стук. Быстрее, чем прежде. Удаляясь.

Я бросил свёрток с лекарствами прямо на обледеневшую землю, не раздумывая ни секунды, и кинулся следом — через улицу, в тот самый узкий, пропахший гнилью и застарелой сыростью проулок, где только что скрылась тёмная фигура.

— Стойте! — закричал я, хотя и сам понимал всю тщетность этого крика. — Кто вы?! Что вам от меня нужно?!

Проулок оказался длинным, зажатым между двумя глухими, без единого окна стенами, и я бежал по нему, тяжело дыша, скользя на обледеневших, неровных камнях брусчатки, а звон шагов впереди то приближался, то вновь ускользал, отражаясь гулким эхом от каменных стен так, что я уже не мог с уверенностью сказать, с какой стороны он доносится на самом деле — впереди, сбоку или уже позади меня.

Проулок резко сворачивал, и, обогнув угол едва не на бегу, я оказался на пересечении сразу трёх узких, расходящихся в разные стороны улочек — пустых, безлюдных, тонущих в одинаковой, непроглядной полутьме. Нигде ни огонька, ни единой живой души.

Я замер, тяжело дыша, вслушиваясь так напряжённо, что у меня заломило в ушах.

Тишина. Ни звука шагов, ни малейшего движения — будто сама земля разом поглотила того, за кем я гнался, не оставив ни следа, ни отзвука.

Я простоял так ещё несколько долгих, томительных минут, напряжённо вглядываясь в каждую тень, в каждый тёмный проём между домами, — но незнакомец, кем бы он ни был, исчез так же бесследно и внезапно, как и появился, оставив меня одного посреди чужого, враждебно притихшего города, с бешено колотящимся сердцем и нарастающим, леденящим убеждением: он сам позволил мне себя увидеть. И так же легко позволил себе скрыться — ровно тогда, когда сам того пожелал, не раньше и не позже, будто играл со мной, как кошка играет с попавшей в угол мышью, прежде чем решить, стоит ли вообще утруждать себя погоней.

Я вернулся за свёртком — он так и лежал на том же месте, нетронутый, — и долго ещё стоял рядом с телегой, не решаясь тронуться в путь, пока не убедился окончательно: улица пуста, и больше меня здесь никто не ждёт. Во всяком случае, не сегодня.

Глава 4

Отказавшись от мысли тащиться назад в лечебницу и затем снова проделывать тот же путь уже завтра, я решил остаться в городе до самой встречи со Стремоуховым. Два раза мотаться по одной и той же дороге, рискуя растряссти в телеге и лекарства, и собственные нервы, казалось мне теперь совершенно бессмысленным расточительством времени, которого у меня и без того оставалось слишком мало. В городе имелаась небольшая гостиница при постоялом дворе — не блестящая, но пристойная, — и я уже прикидывал, что ночь там обойдётся дешевле, чем повторная дорога туда и обратно по подмёрзшим колеям.

Отправив мальчишку-посыльного предупредить Людмилу Павловну, чтобы не ждали меня к ночи, я неспешно шёл к гостинице мимо уже зажигавшихся фонарей, и мысли мои, как ни пытался я их направить к завтрашнему разговору со Стремоуховым, упрямо возвращались к тому высокому человеку в тёмном плаще, что исчез в переулке так же бесшумно, как и появился. Кто он был? Наёмник, посланный радикальной фракцией, разыскивающей Воронцова? Человек Добролюбова, желающий просто поиграть на моих нервах перед новым судебным витком? Или кто-то третий, о чьём существовании я вовсе не подозревал? Он позволил мне увидеть себя — в этом я был уверен твёрдо, — а значит, хотел, чтобы я понял: меня нашли, меня видят, и спрятаться мне будет уже не так легко, как казалось ещё неделю назад.

Этого было достаточно, чтобы я, минуя гостиницу, свернул на соседнюю улицу, где, как я помнил ещё по вывескам, виденным утром на пути к исправнику, располагалась оружейная лавка.

Лавка оказалась небольшой, но добротной — с частым, мелкого рисунка переплётом окон, за которыми в свете единственной керосиновой лампы тускло отливали вороненой сталью ряды ружейных стволов, выставленных вдоль задней стены. Колокольчик над дверью звякнул, когда я вошёл, и из-за прилавка навстречу мне поднялся хозяин — коренастый, с рыжеватой, коротко стриженной бородой человек средних лет, в кожаном переднике.

— Чем могу служить, сударь? — спросил он, окидывая меня тем быстрым, оценивающим взглядом, каким торговцы такого рода товара привыкли мерить всякого нового покупателя: не охотник ли, не офицер в отставке, не праздный зевака.

— Мне нужен револьвер, — сказал я без долгих предисловий. — Для защиты. Дорога до моей лечебницы неблизкая, время сейчас беспокойное, и я хотел бы иметь при себе что-то надёжнее трости.

Он кивнул с пониманием, будто подобная просьба была для него делом самым обычным, и не задал ни единого вопроса сверх того — ни о причинах, ни о документах, ни о том, кто я и откуда. В эти годы такая торговля велась свободно, без особых проволочек и дозволений, и я, помнивший о совсем иных порядках будущего века, невольно отметил эту лёгкость с каким-то странным, двойственным чувством — то ли облегчения, то ли тревоги.

— Что предпочитаете — для кармана, помельче, или настоящее, боевое? — спросил хозяин, уже отворачиваясь к застеклённому шкафчику у стены.

— Боевое, — сказал я. — Мне не до изящества.

Он выставил на прилавок обтянутый зелёным сукном поддон, а на нём — несколько образцов, разложенных с той бережной аккуратностью, с которой хороший мастеровой раскладывает инструмент своего ремесла. Первым он взял массивный, тяжёлый револьвер с длинным, граненым стволом.

— Система Лефоше, — пояснил он, беря оружие в руку с явным удовольствием знатока. — Французской выделки, хотя у нас в России таких теперь делают предостаточно и по образцу, и вовсе под маркой заграничной, да только по сути те же самые. Шпильчатый, заряжается особым патроном — видите, сбоку у гильзы торчит шпилька, по ней курок и бьёт при выстреле,

воспламеняет капсуль внутри. Шесть зарядов в барабане, калибр изрядный, двенадцатилинейный почти, остановит человека наверняка, не то что мелкая дамская игрушка.

Я взял револьвер в руку, ощущая непривычную, но по-своему убедительную тяжесть металла — куда более грубую и примитивную конструкцию, чем привычные мне по прежней жизни современные образцы, но вместе с тем работающую, надёжную, вполне пригодную для того единственного дела, ради которого я сюда и пришёл.

— А армия наша чем вооружена? — спросил я, больше из любопытства, чем из практической нужды, вспоминая отрывочные сведения из прежней жизни о том, что где-то совсем скоро, буквально через год, русская армия должна была перейти на совершенно иной образец.

— Да всё больше тем же Лефоше в кавалерии да у офицеров, — ответил хозяин, пожимая плечами. — Говорят, впрочем, будто скоро заведут что-то новое, американское, систему Смит-Вессон, да только это пока одни разговоры, до нашей лавки такой товар ещё не доходил и в скором времени, сдаётся мне, не дойдёт.

Я кивнул, внутренне усмехнувшись тому, насколько точно совпали его слова с тем смутным знанием, что сохранилось у меня от прежней, не случившейся ещё здесь истории.

— Патроны к нему найдутся в достаточном количестве? — спросил я, возвращая внимание к делу.

— Непременно, — сказал он, уже доставая из-под прилавка картонную коробку, переложённую тонкой промасленной бумагой, в которой ровными рядами лежали латунные гильзы со торчащими в сторону короткими металлическими шпильками. — Две дюжины сейчас с собою возьмёте, а понадобится ещё — присылайте, не задержу.

Он показал мне, как ломать револьвер в шарнире для перезарядки, как вставлять патрон так, чтобы шпилька легла в прорезь барабана точно под будущий удар курка, и я, повторив движение сам под его внимательным, одобрительным взглядом, почувствовал странное, почти детское удовлетворение от того, насколько послушно металл отозвался на простое, механическое усилие.

— Кобуру возьмёте? — спросил хозяин. — Есть поясная, есть под сюртук, подмышечная, для тех, кто не хочет лишний раз показывать, что при оружии.

— Под сюртук, — сказал я, не раздумывая.

Он завернул револьвер и две коробки патронов в плотную серую бумагу, перевязал бечёвкой, назвал цену — вполне умеренную, если судить по тем суммам, что я уже успел потратить на содержание лечебницы, — и я, расплатившись, вышел из лавки с тяжёлым, непривычным грузом за поясом, под сюртуком, туда, где прежде никогда в жизни не держал ничего более опасного, чем докторский саквояж.

Снаружи уже совсем стемнело. Я постоял с минуту у порога лавки, вслушиваясь в вечерние звуки притихшей улицы — не раздастся ли где звон знакомых подкованных каблуков, — но город молчал, и я, так и не услышав ничего тревожного, направился к гостинице, думая о том, что завтрашний день, кем бы ни обернулся для меня хозяин дома, в который я собирался войти, застанет меня уже не безоружным.

Ночь в гостинице прошла на удивление спокойно — куда спокойнее, чем я смел надеяться после вчерашней погони по тёмным переулкам. Комната оказалась тесной, но чисто выбеленной, кровать — узкой и жёсткой, пахнувшей свежевыглаженным бельём и чуть отдававшей сыростью, какая неизбежно скапливается в нежилых по большей части помещениях уездных постоялых дворов. Револьвер, завернутый всё в ту же серую бумагу оружейника, я положил на стул возле изголовья, в пределах протянутой руки, и сам удивился той холодной деловитости, с которой проделал это нехитрое действие — будто не впервые в жизни ложился спать рядом с заряженным оружием, а проделывал это уже не раз и не два.

За окном несколько раз пробили куранты на городской управе, где-то под утро проехала по мёрзлой улице одинокая телега, скрипя несмазанной осью, — и больше ничто не тревожило ночного покоя.

Проснулся я с первыми, ещё серыми лучами рассвета, пробившимися через неплотно задёрнутые занавески, и, умывшись ледяной водой из приготовленного с вечера кувшина, спустился в общую залу гостиницы, где подавали завтрак постояльцам.

Зала оказалась небольшой, но довольно уютной — с низким потолком, прокуренными от трубочного дыма деревянными балками и несколькими столами, покрытыми клеёнчатыми скатертями в мелкий цветочек. За одним из столов, у самого окна, сидел грузный, уже начавший полнеть господин средних лет в добротном, хотя и несколько старомодном сюртуке. Перед господином лежала развёрнутая газета, в руке он держал надкушенный калач.

Я устроился за столом, заказал подошедшей девице чаю и яйцо вкрутую, и, пока ждал, невольно скользнул взглядом по странице газеты, которую сосед держал развёрнутой так широко, что пропустить заголовки было решительно невозможно.

Мой взгляд зацепился за знакомые, собственноручно составленные строки объявления о клинике нервного истощения.

Господин, заметив, видимо, направление моего взгляда, оторвался от чтения и, прочистив горло характерным, слегка хриловатым звуком, обратился ко мне напрямик, с той простотой, какая свойственна людям, привыкшим в провинции заводить знакомства без особых церемоний.

— Прошу извинить, сударь, не выдал ли я ненароком свой секрет? — спросил он, слегка улыбаясь в густые, тронутые сединой усы. — Читаю вот объявлениице занятное, про лечебницу некую, для нервических расстройств, знаете-с. Жена всё пилит, говорит, самое время озаботиться здоровьем, возраст-с не тот уже, чтобы манкировать докторами.

— Весьма разумное объявление, — заметил я осторожно, выжидая, насколько далеко он намерен развить разговор.

— Весьма-с, весьма, — закивал он охотно, складывая газету и откладывая её на край стола. — Позвольте представиться, коли уж разговор завязался: Борис Викентьевич Снегирёв, помещик здешнего уезда, имею, с позволения сказать, небольшое, но вполне приличное имение верстах в двадцати от города.

— Разумов, Андрей Геннадьевич, — ответил я, слегка наклонив голову. — Главный врач той самой лечебницы, о которой вы, Борис Викентьевич, как раз изволили читать.

Брови его взметнулись вверх с таким неподдельным изумлением, что калач застыл на полпути ко рту.

— Вот как-с! — воскликнул он, даже привстав слегка от неожиданности. — Да неужто сама судьба за один стол нас с вами усадила, доктор? Признаться, не ожидал-с, вот уж чего не ожидал нынче утром, за завтраком-то простым. Думал, в газете прочту одно, а здесь живьём встречу самого сочинителя этих строк — это ж надо, право, какое совпадение приятнейшее.

Он тут же, не дожидаясь приглашения, подхватил свою чашку и тарелку и перебрался за мой стол, усевшись напротив с той радушной непринуждённостью, которая свойственна людям, за всю жизнь не привыкшим чувствовать неловкости от собственной прямооты.

— А скажите, доктор, — начал он, понизив голос и слегка наклонившись через стол, — вот объявление-то ваше, оно ведь, как бы сказать, для деликатных случаев составлено, верно-с? Чтобы без лишнего шума, без того чтобы весь уезд знал, кто да отчего лечится?

— Именно так, — подтвердил я. — Многие расстройства нервного свойства требуют не только лечения, но и, если угодно, некоторой душевной тайны. Не всякий готов, чтобы о его слабости судачили соседи.

— Вот то-то и оно-с, — он удовлетворённо кивнул, принимаясь намазывать маслом новый кусок калача. — У меня, доктор, как раз есть один знакомый, помещик тоже, сосед мой

по имению, Фёдор Кузьмич Болотников — человек весьма достойный, служивший прежде, с орденами даже. Да вот беда у него в доме завелась, и беда немалая. Жена его, Прасковья Андреевна, года два уже как не своя сделалась — то плачет без причины целыми днями, то вдруг замкнётся так, что слова не вытянешь, то вовсе из комнаты не выходит неделями, свету белого не видит, с позволения сказать. Доктора местные руками разводят, говорят — хандра, мол, пройдёт сама, как пришла. А оно не проходит, доктор, уж третий год пошёл.

— Это весьма похоже на меланхолию, — заметил я осторожно, уже чувствуя тот знакомый, профессиональный интерес, который всегда просыпался во мне при описании подобных случаев, — но без осмотра самой пациентки судить наверняка было бы неосторожно с моей стороны.

— Вот я и думаю, — продолжал Снегирёв, явно обрадованный моей заинтересованностью, — что надо бы мне Фёдору Кузьмичу про вас рассказать-с, про лечебницу вашу, про объявление это самое. Человек он не бедный, заплатить за лечение жены способен с лихвой, да и огласки, сами понимаете, стыдится — не хочет, чтобы весь уезд знал, что у него в доме, с позволения сказать, не всё ладно. А тут вот оно, то самое, что надобно: и тихо, и прилично, и доктор, изволите видеть, живой, передо мной сидящий, а не просто строчки в газете.

— Буду весьма признателен, Борис Викентьевич, если вы направите его ко мне, — сказал я, стараясь не выдать голосом той радости, какую вызвало во мне это неожиданное предложение. — Уверю вас, случай его супруги получит самое внимательное и деликатное отношение, на какое я способен.

— Непременно направлю-с, непременно, — закивал Снегирёв с довольным видом человека, устроившего доброе дело, да ещё и за завтраком, между делом, без особых хлопот. — На днях же, как домой вернусь, так напрямиком к нему и заеду, расскажу всё как есть. Думаю, он и сам не замедлит к вам съездить, уж больно ему эта беда опостылела, третий год, сами понимаете-с, не шутка.

Мы допили чай, обменявшись ещё несколькими малозначащими фразами о погоде да о состоянии дорог, и, когда Снегирёв наконец простился со мной, пообещав на прощание непременно замолвить за меня доброе словечко перед своим незадачливым соседом.

Я остался за столом один, мысленно подсчитывая эту маленькую, но столь своевременную удачу. Клиент с деньгами, готовый платить за деликатность и тайну, — именно то, в чём так остро нуждалась сейчас лечебница после всех понесённых убытков. Быть может, думал я, допивая остывший чай, не всё ещё было потеряно, и одно случайное знакомство за завтраком могло оказаться куда более ценным подарком судьбы, чем иная, куда более пышно обставленная благодарность.

К шести часам вечера небо над городом уже совсем потемнело, и первый, ещё робкий снег, не долетая до земли, таял в воздухе мелкой холодной пылью, оседая на плечах прохожих влажным, быстро исчезающим налётом. Я шёл к дому Стремоухова пешком, нарочно выбрав этот способ вместо извозчика — хотелось не растерять по дороге то хрупкое, тщательно выстроенное за день равновесие духа, которое, как мне казалось, могло пригодиться куда больше, чем лишние десять минут тепла в закрытой пролётке.

Револьвер под сюртуком ощущался непривычной, но странно успокаивающей тяжестью. Я прокручивал в голове весь вчерашний разговор с Воронцовым, повторял себе его слова о притворном неведении, об осторожных, ничего не выдающих ответах, — и всё же с каждым шагом, приближавшим меня к цели, тревога внутри лишь крепла, несмотря ни на какие заготовленные доводы рассудка.

Дом Стремоухова оказался именно таким, каким я его себе и представлял по единственной нашей прежней встрече в стенах лечебницы, — массивным, двухэтажным, с колоннами у парадного крыльца и ровным рядом освещённых окон, за которыми угадывалось то спокойное,

устоявшееся богатство, что копится не одним поколением, а передаётся из рук в руки, обрастая по пути всё новыми знакомствами, связями и тайными обязательствами. Лакей, встретивший меня у дверей, принял шинель с той безмолвной, вышколенной почтительностью, что свойственна слугам в домах подобного достатка, и, не произнеся ни единого лишнего слова, повёл меня через просторную, обшитую тёмным деревом переднюю, затем по широкой лестнице наверх, где уже у самой двери кабинета остановился и, слегка поклонившись, отворил створку.

— Доктор Разумов, — произнёс он негромко, впуская меня внутрь.

Кабинет поразил. Высокие, до самого потолка, книжные шкафы с тускло поблёскивающими за стеклом корешками в кожаных переплётах, массивный письменный стол, заваленный бумагами и газетами, и камин, в котором негромко потрескивали дрова, бросая на стены неровные, пляшущие отблески. Пахло здесь дорогим табаком, старой кожей и воском от множества свечей, зажжённых по углам комнаты вместо резавших глаз керосиновых ламп.

Сам хозяин дома стоял у окна, заложив руки за спину. Услышав мои шаги, медленно обернулся.

— Андрей Геннадьевич, голубчик, как я рад, что вы нашли время приехать!

Аполлон Никифорович Стремоухов улыбнулся, широко, открыто, самой располагающей из всех улыбок, какие мне доводилось видеть за последние месяцы, — и шагнул мне навстречу, протягивая руку.

— Андрей Геннадьевич, — произнёс он тем тёплым, бархатистым голосом, каким говорят люди, давно научившиеся вкладывать в самые простые слова ровно столько искренности, сколько требует минута, и ни капельки больше. — Прошу вас, присаживайтесь, будьте как дома. Нам, доктор, предстоит сегодня один очень важный разговор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.